

К ВОПРОСУ О ДИСКУРСИВНОМ ХАРАКТЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКА: ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ РЕЛЯТИВИЗМА В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Предметом настоящей статьи является исследование оснований исторического релятивизма, возникшего в ходе «лингвистического поворота» в аналитической философии языка. Мы ставим целью выдвинуть, попытаться обосновать и подвергнуть критическому анализу три теоретические положения:

- 1 Предпосылки исторического релятивизма заложены уже в ранней аналитической философии, в критике идеи всеобщей истории и универсальных методов исторического исследования;
- 2 В историческом релятивизме происходит отказ от идеи описания с пользу идеи репрезентации, и, как следствие, постулируется апология множественности интерпретаций;
- 3 Основным теоретическим достижением исторического релятивизма мы считаем понимание исторического нарратива как «рассказа» (story). Складывается новое для аналитической традиции дискурсивное понимание языка историков.

1 Критика «субстантивистской» философии истории.

Существует распространенное мнение, что исторический релятивизм возникает и формируется, начиная с 1960-х годов, под влиянием витгенштейнианских и неопрагматистских идей. Мы тоже придерживаемся этой точки зрения, но хотим ее несколько расширить. С нашей точки зрения, в аналитической философии с самого начала ее существования в «латентной» форме присутствовал если не релятивизм, то плюрализм и «анти-субстантивизм» в отношении как идеи всеобщей истории, так и возможности объективного исторического описания. Причем, если в сфере эпистемологии и логики критика геллельянского абсолютного идеализма приводит к формированию также универсалистских по своей сути теории чувственных данных и теории идеального логического языка, но в области представлений об истории уже ранние аналитики выступают не универсалистами, а плюралистами. К примеру, Б. Рассел пишет: «Я думаю, ход истории подчинен законам и, возможно, для достаточно мудрого человека предопределен, но нет того, кто мудр достаточно. Ход истории слишком сложен, чтобы мы могли его просчитать; и человек, утверждающий, что сделал это, - шарлатан» (Рассел Б. Философский словарь разума, материи и морали. Киев: Port-Royal, 1996. С. 117). Ранний Рассел считает, что, если и возможно объективное историческое описание, оно может быть отнесено к анализу конкретных событий, очевидно наблюдаемых народов, партий, социальных трансформаций и прочих явлений прошлого, которые можно так или иначе (правда с большими ограничениями) задокументировать и подтвердить. Идею же всеобщей истории и всеобщей методологии философии истории Рассел расценивает как теоретически бесперспективную.

Можно предположить, что Рассел запрещает нам выстраивать эссенциалистские паттерны относительно прошлого. К примеру, мы можем допустить, что Филипп и Александр подчинили большинство греческих полисов интересам македонян. Это положение можно подтвердить, ссылаясь на многочисленные источники. Однако если мы предположим, что «Александр поработил Грецию, положив конец греческой свободе», то такое положение уже не так просто обосновать. Здесь как раз и присутствует «паттерн», априорное предположение, под которое подстраивается соответствующий аргументативный ряд. Тем самым, дескриптивизм в истории возможен и является верной теоретической стратегией против универсализма.

Для аналитической философии истории также характерна критика «перспективизма», или описания прошлого с позиции, согласно которой причины прошлого оказываются следствиями настоящего. А. Данто «разворачивает» этот аргумент, выдвигая с позиции «непосредственного участника» исторического события. К примеру, работая с суждением: «Петрарка дает начало Ренессансу», Данто отмечает: «*Не существует* опыта, верифицирующего данное предложение, если под верификацией мы подразумеваем переживание в опыте того, что описывается данным предложением» (Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 66). Критика универсализма и субстантивизма в истории разворачивается в предположении, что история не может быть написана с позиций долженствования и детерминизма, «пролонгированного» из настоящего в будущее. В этом случае возникает «запрещенная» ситуация осведомленности о всех произошедших событиях, сродни той, в которой находится читатель большинства романов и повестей, который «знает всё». Но как герои романа, так и непосредственные участники исторических событий в такой ситуации не находятся; они могут столько строить предположения относительно того, какие последствия наступят в будущем. Поэтому правильно было бы утверждать не то, что Петрарка дал начало Ренессансу, а то, что своей деятельностью и взглядами Петрарка создал некоторые условия в области литературы, культуры, философии, вызвавшие некоторые трансформации средневекового мирозерцания. Но даже такое предположение следует принимать осторожно; ведь вполне возможно выстраивание альтернативного концептуального ряда. К примеру, подавляющее большинство историков относят Боккаччо к представителям Возрождения; однако вполне допустим и нарратив отнесения итальянского писателя к представителям Средневековья (тем более учитывая прозвище писателя: «Средневековый»). Поэтому Данто и утверждает: «Задача истории как раз и заключается в том, чтобы знать события не так, как их знали очевидцы, а как знают историки – в связи с более поздними событиями и в контексте времени» (Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 177). Тем самым, историк оказывается бессильным рассмотреть исторические события в том виде, «как они на самом деле происходили», а также придать историческим событиям строгие детерминации.

Как мы полагаем, в суждениях сторонников исторического плюрализма в аналитической философии присутствует определенная «онтология» истории, суть которой сводится к предположению о неискоренимом разнообразии сообществ, эпох и культурных образований в истории человечества. Основоположником этой точки зрения можно считать А. Уайтхеда, хотя подобные суждения можно обнаружить у Рассела, Мура, Александера и других ранних аналитиков. Уайтхед пишет: «Опасна проповедь единообразия. Различия между нациями и расами необходимы человечеству для того, чтобы сохранить условия, при которых возможно успешное развитие <...> Разнообразие среди человеческих сообществ необходимо для возникновения побудительных мотивов и материальных условий для

Одиссеи человеческого духа» (Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990. С. 270). Эта идея Уайтхеда находится вне языкового дискурса; Уайтхед учит о том, что «приключения идей» приводят к тому, что они столь сильно окрашиваются в цвета эпохи, что приобретают коннотации, свойственные исключительно этой эпохе. Выраженная дискретность культурно-исторического фона многократно усиливается, когда мы переходим к языковым структурам. Ф. Анкерсмит по этому поводу пишет: «В рамках постмодернистского взгляда на историю, целью больше не является интеграция, синтез исторического и вся тотальность истории, но в центр внимания помещаются именно исторические ответвления» (Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 336). «Приключения идей» Уайтхеда и по сей день вдохновляют многочисленные «микроисторические» проекты. В качестве примера можно привести пятитомные «Историю частной жизни» и «Историю женщин», написанные с априорно предложенной плюралистической установки. Как таковая частная жизнь существовала всегда, но в рамках упомянутого проекта она распадается на множество разнообразных проявлений, между которыми может как существовать, так и не существовать общность и историческая преемственность.

Еще раз повторим: за плюралистической риторикой стоит явно выраженная плюралистическая онтология истории. Наиболее откровенно ее высказывает К. Поппер, который пишет: «Единой истории человечества нет, а есть лишь бесконечное множество историй, связанных с разными аспектами человеческой жизни, и среди них – история политической власти. Ее обычно возводят в ранг мировой истории <...> Реальной историей человечества, если бы таковая была, должна была бы быть история всех людей, а значит история всех человеческих надежд, борений и страданий, ибо ни один человек не более значим, чем любой другой. Ясно, что такая реальная история не может быть написана» (Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 312). Ему вторит Г. Иггерс, вопрошающий: «Мы живем во времена, где уже нет убежденности в том, что история следует ясным курсом, но почему это должна быть одна история? Почему не может быть много историй? Почему не может быть микроисторий, многих историй малых групп?» (Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. С. 160). С нашей точки зрения, присутствуют явные теоретические затруднения даже в приложении одного и того же исторического концепта к постепенно изменяющейся реальности. Возьмем понятие «Римская империя». Она обозначает юридически одно и то же государство, которое просуществовало с 27 г. до н. э. до 476 г. (или до 1453 г., как считают некоторые историки, рассматривающие Византию как государство-преемника Римской империи). Трудности начинают возникать, когда мы покидаем это юридическое определение. Вполне логичным оказывается теоретическая стратегия выделения исторических периодов и царствований (династий), в рамках которых юридически одна и та же Римская империя фактически оказывается весьма разными государствами. Подход сторонников плюрализма как раз и заключается в элиминации или ослаблении «охватывающих» понятий, придании им «матричного», дискурсивного, а не «сущностного» характера. По мнению Дж. Тоша, именно так и работают историки. Им вполне удобен обобщающий концепт «Римская империя»; но при непосредственном ее изучении историки с легкостью порывают с ним, конкретизируя свой предмет рамками царствования, той или иной политической, военной, культурной сферой. В историческом исследовании необходимы, но далеко не всегда оправданы обобщающие труды с условным названием «Римская армия»; гораздо перспективнее более конкретные исследования с условными названиями: «Боевой порядок римской армии», «Устройство военных лагерей в Древнем Риме», «Жизнь и быт римских

легионеров» и т.п. Здесь, правда, Тош вскрывает новую проблему: «Однако с расширением спектра исторических исследований возникает одна несомненная проблема: история превратилась в дисциплину, почти лишенную очевидной целостности» (Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М.: Изд-во «Весь мир», 2000. С. 286). Причины утраты целостности исторического исследования мы и обсудим в следующем разделе.

2 Интерпретативный характер исторического описания: история как репрезентация

Не так легко усмотреть грань, которая разделяет плюрализм и релятивизм в историческом исследовании вследствие значительной общности этих позиций. Можно предложить следующее определение: в отличие от сторонников плюрализма, исторические релятивисты вносят в историю идею случайности социокультурных явлений, что влечет за собой апологию множественности интерпретаций. Плюралисты констатируют гибель идеи всеобщей истории с бесстрастным сожалением и весьма скупы в допущении альтернативных точек зрения, тогда как релятивисты возводят размножение толкований на пьедестал..

Предпосылки исторического релятивизма присутствуют у ранних аналитиков. Собственно, идея случайности в истории, вовсе не рортиевская, а расселианская. «Мы не можем проигнорировать ту роль, которую играет так называемая случайность, иначе говоря, обычные обстоятельства, которые могут породить большие следствия. Великая война была вызвана многими причинами, но не неизбежными причинами», - пишет Рассел (Russell B. Freedom and Organization. 1814 – 1914. London: George Allen and Unwin, 1934. P. 7). Схожей точки зрения придерживается и Л. Витгенштейн, который подмечает: «Думая о будущем мира, мы всегда предполагаем, где он окажется, если будет двигаться в том же направлении, в каком, по нашему разумению, движется сейчас. О том же, что мир движется не по прямой, а по кривой, направление которой постоянно меняется, мы не думаем» (Витгенштейн Л. Культура и ценность. § [19] // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М.: Изд-во «Гнозис», 1994. С. 414). Для наглядности: давайте сравним два только что приведенные суждения с высказыванием М. Оукшотта, причисленного к классикам исторического релятивизма. Он пишет: «Однако “историческое” прошлое носит иной характер. Это сложный, трудный для понимания мир, мир без единства чувств и ясного сюжета: в нем события не имеют единого образца и замысла <...> Это мир, целиком состоящий из случайностей <...> Это картина, вычерченная во множестве разных измерений» (Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 152). Текстологическое сопоставление, с нашей точки зрения, позволяет допустить, что суждение Оукшотта имеет, разве что, риторические отличия: оно высказано догматическим, а не скептическим тоном. Но по своей сути мы видим последовательно выраженную индетерминистскую позицию, в рамках которой роль значимости исторической непредсказуемости и случайности резко возрастает.

Мало того, положение об исторической случайности, по-видимому, все меньше и меньше относится к самой реальности исторических событий и все больше и больше становится предустановкой языкового дискурса. Исторический мир «оказывается» случайным сквозь призму определенного исторического языка, лишено эссенциалистских паттернов. В этом контексте Рорти лишь подытоживает индетерминистскую логику аналитического

исторического релятивизма, когда пишет о большинстве современных теоретиков истории: «Такие авторы говорят нам, что вопрос “Что значит быть человеком?” должен быть заменен на вопросы типа “Что значит жить в богатом демократическом обществе XX в.?” и “Как может член такого общества быть чем-то более, чем просто исполнителем роли, разыгрываемой по заранее написанному сценарию?” Этот историцистский поворот помог нам освободиться, постепенно, но основательно, от теологии и метафизики – от искушения искать избавления от времени и случая» (Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С. 17). Тем самым, в историческом релятивизме идея случайности может быть отнесена онтологически ко всей истории, но лингвистически – лишь ко всеобщей истории, к «макроистории». На уровне «микроистории» язык исторических описаний может допускать значительное количество предположений, верифицирующих, детерминирующих или оправдывающих те или иные события. Правда, за пределами описательного дискурса власть таких детерминаций исчезает.

В такой философии истории множественность интерпретаций является а priori установленной позицией. «Мы неизбежно по-разному будем воспринимать настоящее в зависимости от того, с какими элементами прошлого сможем связать его», - отмечает Данто (Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 95). Плюрализм интерпретаций соответствует случайной множественности исторических образований. Как отмечает Рорти: «целью становится не Единственно Верное Описание, а расширение репертуара альтернативных описаний» (Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С. 67). Релятивистское содержание такой точки зрения заключается, по-видимому, не в плюрализме самом по себе, а в предписании создавать такой плюрализм во что бы то ни стало. Получается, что чем больше интерпретаций исторических событий мы сможем предложить, тем «лучше», «объективнее» и «более разносторонне» будут освещены эти события. Используя термин Куна, можно предположить, что стихийная множественность исторических интерпретаций является «нормальной» формой исторической науки. Это фиксирует И. Берлин, который отмечает: «Если мы зададимся вопросом, какие историки вызывают у нас наибольшее восхищение, то, думаю, окажется, что не самые изобретательные и не самые точные, и даже не открыватели новых фактов, а те, кто (наподобие гениальных писателей) изображают людей, общества и ситуации многомерными, со всех мыслимых точек зрения» (Берлин И. Подлинная цель познания. – М.: Канон+, 2002. С. 79). С нашей точки зрения, приведенные идеи Берлина, Рорти и Данто обрисовывают свойственную лингвистическому релятивизму теоретическую модель, согласно которой критерии истинности и убедительности исторической интерпретации относятся уже не к объективности описываемого события, а к правдоподобности предложенного нарратива.

Подобная теоретическая модель может быть уязвима на уровне практики исторического исследования. При изучении того или иного конкретного раздела (например «упадка Римской империи», «появления мануфактур», «возникновения движения эмансипации» и т.п.) набор точек зрения далеко не столь многочислен, как полагают сторонники релятивизма. Как правило, в конкретно взятый момент развития исторической науки число альтернативных точек зрения редко превышает число пять; обычно же ведется теоретический спор между двумя-тремя интерпретациями. Ограничение интерпретаций, происходящее не намеренно, а естественным путем, представляется более здоровой позицией, нежели требуемое релятивистами «размножение» гипотез. К примеру, Ф. Анкерсмит отмечает: «Интерпретативный способ наблюдения прошлого может быть

признан как таковой только при наличии *других* путей наблюдения прошлого <...> Следовательно, максимум ясности в историографии может быть получен только благодаря *быстрому увеличению количества* исторических интерпретаций, а не в результате попыток уменьшить их число» (Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 174). Полагаем, что увеличение количества исторических интерпретаций не даст ощутимого прогресса в исследовании. Плюралистическая позиция представляется более конструктивной, поскольку, избегая универсализма, она не муссирует фабрикацию интерпретаций там, где в этом нет необходимости. Сам по себе императив Анкерсмита о множественности интерпретаций оказывается догматической позицией.

Сторонники исторического релятивизма, как мы видим, не совсем оправданно ратуют за бесконечное расширение интерпретаций. Однако, нельзя не отметить и того, что они по-новому ставят проблему субъекта исторического описания. Они уходят от предположения, что конкурирующие между собой историки мыслят в рамках одних и тех же концептуальных установок. «Ведь истина в том, что нет никакого определенного лица, спрятанного за различными масками каждого рассказчика истории, будь он историк, поэт, романист или создатель мифов», - пишет П. Мунц (Munz P. The Shapes of Time. Middleton: Wesleyan University Press, 1978. P. 16). Проясним эту точку зрения. Допустим, есть историки А, В. и С, интерпретирующие одно и то же событие. По Мунцу, неверно считать, что эти историки исходят из одних и тех же теоретических установок. Нет универсального субъекта, наподобие абсолютного духа, к которому могут быть отнесены все «рассказчики». Складывается ситуация постмодернистского эклектизма, проявляющаяся на категориальном уровне. Ситуация усугубляется тем, что историки А, В и С вовсе не имеют судят в единой теоретической плоскости. Что это означает? Например, историки А и В судят по поводу категории Х. Но в мировоззрении историка С эта категория не является существенной; он ее игнорирует, а судит о другой категории Y. Несложно догадаться, что возникает разнообразный спектр возможных комбинаций внутри дискурса.

Складывается окончательная диффузия дискурса истории, о которой пишет А. Макинтайр: «Этот вид историцизма, в отличие от гегелевского, включает формат фаллибилизма; это вид историцизма, который исключает все притязания на абсолютные знания» (Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. С. 365). В релятивистском фаллибилизме присутствует нарочитая цель: разгром любой формы историзма, выведенной с универсальных точек зрения. Взамен в качестве императива постулируется множественность конкурирующих интерпретаций. Х. Уайт описывает эту множественность так: «Не существует аподиктически определённых теоретических оснований, опираясь на которые можно было бы обоснованно вынести суждение о превосходстве одной из этих форм над другими как более «реалистической»; как следствие этого, мы обязаны выбирать между конкурирующими интерпретативными стратегиями при любой попытке рефлексии над историей-в-целом; как вывод из этого, наилучшие основания для предпочтения одного видения истории другому являются эстетические и моральные, нежели эпистемологические» (Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2002. С. 20). Правда, при таком мнении всегда следует держать в уме иронию Дж. Тоша, который подмечает: «Как это часто случалось в прошлом, непримиримые критики исторической науки часто воюют с ветряными мельницами. Историки всегда отличались способностью воспринимать некоторые аргументы критиков “правдивости” своей дисциплины. Они далеко не так привержены единому историческому субъекту, как предполагают некоторые критики»

(Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М.: Изд-во «Весь мир», 2000. С. 176). Ирония Тоша, пожалуй, относится к императиву Уайта об «обязанности» выбора между альтернативами.

Сделаем вывод: интерпретативный характер описаний в рамках исторического релятивизма становится неотъемлемым условием, которое не вырабатывается в процессе исследования, а априорно предпосылается ему. Поэтому В. Целищев совершенно справедливо отмечает: «Историчность парадигм ведет к полному релятивизму, который отрицает возможность научного познания природы вообще, так как все парадигмы, посредством которых ученые понимают природу, преходящи» (Целищев В.В. Философский раскол: логика vs метафизика. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. С. 55). Следует особо подчеркнуть, что релятивизм оказывается «парадигмальной», а не теоретической установкой; это метафизическая позиция, никак не вытекающая из конкретно-исторического исследования, а предпосланная ему.

3 История и дискурс: понятие «рассказа» как сущность исторического релятивизма.

Выше мы установили, что, с позиций исторического релятивизма, на первый план выходит создание многочисленных исторических интерпретаций. Это исследовательская стратегия, методологическая установка. Здесь же мы затронем вопрос о том, как с таких позиций оформляется историческая теория, в каком виде она существует.

Прежде всего, следует понять, что в рамках исторического релятивизма итоговый результат уже не представлен в форме «теории». На первый план выходит лингвистическая составляющая, когда исторический нарратив приобретает черты связного повествования с определенной точки зрения. «Спрашивать о значении некоего события в *историческом* смысле этого термина – значит ставить вопрос, на который можно ответить только в контексте завершенного *рассказа*», - пишет Данто (Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 20). Термин «*story*» означает не просто рассказ, наподобие литературного произведения или преподнесенной частной истории. Здесь, на самом деле, не так много параллелей с литературой (как, к примеру, у французских авторов). Мы выделяем две существенных черты представления истории в форме рассказа:

- 1 Первично лингвистическое содержание. Исторический рассказ не должен пониматься как «концептуальное» построение;
- 2 Холистическая точка зрения; рассказ представляется в форме контекстуальности, имеющей явную тенденцию замыкаться на себе самой.

Исторические повествования становятся индивидуальностями; дискурсивность их проявляется в том, что для их понимания нужно быть готовым разделять установки языка, на котором они сформулированы. Оригинальность здесь становится императивом; каждый новый рассказ интересен, прежде всего, тем, что не содержится в предыдущих рассказах. Складывается ситуация, наподобие сериала или смены глав приключенческого романа, где в каждой новой части обязательно должно «произойти» нечто новое. Историк должен воздерживаться от построения сказанного до него. «Невозможно сопоставить историческую репрезентацию прошлого, данного в тексте как целом, с исторической реальностью, как мы поступаем в случае суждения. Вместо этого мы должны понимать исторический текст как замещение, данное нам здесь и сейчас, отсутствующего прошлого.

Вместо объективной, публично доступной и воспринимаемой исторической реальности, которая дана историкам, когда они говорят о прошлом и обсуждают его, у нас есть исторические репрезентации, предложенные историками в качестве ее замещений. Этим может объясняться метафорический по своей сущности характер исторической репрезентации», - пишет Анкерсмит (Анкерсмит Ф.Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. С. 372). Полемика не является главной целью нашего исследования; однако позиция Анкерсмита, как нам кажется, содержит в себе одно преувеличение. В самом деле, Римская империя для историка вряд ли является установленным объектом. Скорее, это общепринятый концепт, созданный преимущественно теоретически; равно как и исторический дискурс по этому поводу. Так или иначе, можно допустить, вслед за Анкерсмитом, что историк здесь изучает репрезентации событий, происходящих в Древнем Риме. Однако остается неясным, насколько эти репрезентации метафоричны и насколько они далеки от объективности. Получается, что Анкерсмит излишне поспешно отбрасывает стремление историка описать, если не то, как события происходили на самом деле, но то, как эти события имели место вне зависимости от любых интерпретаций в будущем. Дискурсивный и ценностный характер исторических фактов, как мы полагаем, еще не гарантирует того, что подобные факты могут стать репрезентациями, а не отражениями того или иного положения дел.

Если представлять историю в форме рассказов, то это влечет за собой трансформацию самого предмета истории. История окончательно теряет свой «научнообразный» образ, становится частью имажинативной практики. Смену предмета истории подчеркивает Э. Бёрк: «Слово “культуральная” отличает ее от интеллектуальной истории, поскольку подразумевает акцент на ментальностях, предположениях или чувствах, а не на идеях или системах мысли» (Бёрк П. Что такое культуральная история? М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. С. 83). «Культуральная» история означает переход от идеи объективного описания событий в прошлом к оперированию воображаемыми образами прошлого. Это отмечает и Дж. Тош: «В своей крайней форме история культуры – и особенно “лингвистический поворот” – очевидно, во многом подрывает традиционные основы исторической науки. Возникла совершенно новая идея, что репрезентация – это единственно возможная область исторического исследования» (Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М.: Изд-во «Весь мир», 2000. С. 259). Тош совершенно оправданно связывает между собой идеи лингвистического поворота и воображения. Ведь именно воображение является в рамках культуры, по преимуществу, языковым феноменом. А репрезентации, в свою очередь, освободившись от верификационных критериев, приобретают автономность, наподобие автономности литературных текстов.

Именно поэтому в рамках учения исторических релятивистов историк стремится не к воссозданию, а организации прошлого в дискурсивной форме. Используя категорию Д. Дэвидсона, первостепенной оказывается не содержание, а концептуальная схема. Только эта схема уже оказывается не «концептуальной», а нарративистской, символической. Данто справедливо отмечает, что репрезентации словно задают наше восприятие прошлого. В самом деле, процессы над ведьмами актуальны для средневекового общества, но вряд ли для нашего общества. В свою очередь, проблемы ядерного разоружения актуальны для нас, но ничего не значат для средневековых людей. Тут, правда, скрывается утонченная софистика: репрезентация «перетягивает» на себя в том числе и не-дискурсивные элементы (к примеру, любые бесспорно зафиксированные действия). Битвы, коронации, эпидемии,

учредительные акты трансформируются из «событий» в «символы», т.е. тоже воспринимаются как часть репрезентации. Этот процесс описывает Рорти. «В моем понимании интеллектуальная история, как форма изучения и освоения прошлого, состоит из описаний того, о чем когда-то размышляли люди, которых мы сегодня называем “интеллектуалами”, какие цели они преследовали в своей деятельности, в каких отношениях находились с окружающим миром и обществом», - считает он (Рорти Р. Историография философии: четыре жанра. М.: Изд-во «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. С. 95). Нам представляется явно преувеличенным могущество «интеллектуально историка», а представление событий в форме репрезентаций мало конструктивно. Вместе с тем, совершенно очевидна логика исторических релятивистов: они не хотят оставлять «в тылу» своих нарративов не подконтрольные дискурсу исторические факты; они стремятся уйти от «позитивистской» схемы разделения на факты и описания. «Историк использует такие понятия, как “интеллектуальное движение”, “Ренессанс”, “социальная группа” или “промышленная революция” для того, чтобы “одеть прошлое”. Прошлое показывается при помощи таких сущностей, которые не составляют части самого прошлого», - пишет Анкерсмит (Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М.: Идея-Пресс, 2003. С. 130). Только оказывается, что одеяния прошлого некритично выдаются за само прошлое. Здесь Анкерсмит выступает с предельно откровенной анти-объективистской позицией. Он отмечает: «Прошлое больше не “реальный” объект, каким оно было для историзма. “Реальность”, опытным путем познанная в ностальгии, и есть само различие, а не то, что лежит на другой стороне различия, то есть прошлое как таковое» (Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 374). Объект истории, тем самым, трансформируется: *история – не описание событий в прошлом, а конструирование дискурса по поводу опыта о событиях в прошлом.*

Ведущие сторонники исторического релятивизма зачастую видят и определенные проблемы, возникающие в связи с «опьяняющим релятивизмом» (выражение Д. Дэвидсона) в дискурсивном характере языка историков. Они пытаются убедить нас в том, что речь идет не просто о «рассказах», а об изначальной слитности, неразличимости события и его языкового или опытного представления. «Мы не знаем с априорной достоверностью, где заканчиваюсь “я”, исторический субъект, и начинается прошлое, объект. Здесь все текуче и неопределенно, и именно эта текучесть и неопределенность определяют территорию, на которой могут расцвести история и историописание. Это территория исторического опыта», - пишет Анкерсмит (Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Изд-во «Европа», 2007. С. 362). Как однажды выразился Х. Патнэм, любые наши данные изначальны концептуально инфицированы. Поэтому суждение Анкерсмита можно понимать в рамках исторического интернализма; само историческое событие оказывается неотделенным от его репрезентации. Здесь мы готовы признать, что идея символического слияния предмета и описания, отказа от мышления в форме исторического дескриптивизма является продуктивной теоретической стратегией. Правда, с одной оговоркой: если при этом отказаться от исторического релятивизма. Иначе нам станет трудно найти какой-либо определённый смысл истории. Элементы в рамках исторического нарратива могут оказаться представленными столь разнообразными способами, что вряд ли окажется возможным сохранить теоретический контроль над выстроенным нами же нарративом.

